

Иван ЖДАНОВ

**ФОТОРОБОТ**  
запретного мира

«Пушкинский фонд» • МСМХСVII  
Санкт-Петербург



Весною сад ковытает на ветвях,  
карданами праком приходя в сознание.  
Ты вверху плыви — вспомни как  
жизнь небес о брызгах облаках.

Тебе он близко поднесит к лицу,  
как зеркальце, но колеблется  
свадебный кружковой патрона  
дождиком лужку к концу.

Тотом рукой, асимметрией, как прелесть,  
как уток горелки задверье,  
он ест с тобой в запертых сутерке.  
Тот или не был — уже вопроса нет.

И то, что можно страхом победить,  
заключит мир в одной верной круговорот  
Тебе верней из повседневной смерти,  
которую ты должен доносить.

Иван Руданов

Иван ЖДАНОВ

**ФОТОРОБОТ**  
запретного мира

«Пушкинский фонд» • МСМХСVII  
Санкт-Петербург

**Ж 42**  
**ББК 84. Р7**

**Марка издательства работы**  
*Сергея Семенова*

**ISBN 5-85767-094-2**

**© Иван Жданов, 1997**

I



## ДО СЛОВА

Ты — сцена и актер в пустующем театре.  
Ты занавес сорвешь, разыгрывая быт,  
и пьяная тоска, горящая, как натрий,  
в крошечной темноте по залу пролетит.  
Тряпичные сады задушены плодами,  
когда твою гортань перегибает речь  
и жестяной погром тебя возносит в драме  
высвечивать углы, разбойничать и жечь.  
Но утлые гробы незаселенных кресел  
не дрогнут, не вздохнут, не хрястнут пополам,  
не двинутся туда, где ты опять развесил  
крапленый кавардак, побитый молью хлам.  
И вот уже партер перерастает в гору,  
подножием своим полсцены охватив,  
и, с этой немотой поддерживая ссору,  
свой вечный монолог ты катишь, как Сизиф.  
Ты — соловьиный свист, летящий рикошетом.  
Как будто кто-то спит и видит этот сон,  
где ты живешь один, не ведая при этом,  
что день за днем ты ждешь, когда проснется он.  
И тень твоя пошла по городу нагая  
цветочниц ублажать, размещивать гульбу.  
Ей некогда скучать, она совсем другая,  
ей не с чего дудеть с тобой в одну трубу.  
И птица, и полет в ней слиты воедино,  
там свадьбами гудят и лед, и холода,  
там ждут отец и мать к себе немного сына,  
а он глядит в окно и смотрит в никуда.  
Но где-то в стороне от взгляда ледяного,  
свивая в смерч твою горчичную тюрьму,  
рождается впотьмах само собою слово  
и тянется к тебе, и ты идешь к нему.  
Ты падаешь, как степь, изъеденная зноем,  
и всадники толпой соскакивают с туч,  
и свежестью разят пространство раздвижное,  
и крылья берегов обхватывают луч.



О, дайте только крест! И я вздохну от боли,  
и продолжая дно, и берега креня.  
Я брошу балаган — и там, в открытом поле...  
Но кто-то видит сон, и сон длинней меня.

## КРЕЩЕНИЕ

Душа идет на нет, и небо убывает,  
и вот уже меж звезд зажата пятерня.  
О, как страхнуть бы их! Меня никто не знает.  
Меня как будто нет. Никто не ждет меня.  
Торопятся часы и падают со стуком.  
Перевернуть бы дом — да не нащупать дна.  
Меня как будто нет. Мой слух ушел за звуком,  
но звук пропал в ночи, лишая время сна.  
Задрал бы он его, как волка на охоте,  
и в сердце бы вонзил кровавые персты.  
Но звук сошел на нет. И вот на ровной ноте  
он держится в тени, в провале пустоты.  
Петляет листопад, втирается под кожу.  
Такая тьма кругом, что век не разожмешь.  
Нащупать бы себя. Я слухом ночь тревожу,  
но нет, притихла ночь, не верит ни на грош.  
И где-то на земле до моего рожденья,  
до крика моего в мое дыханье вник  
послушный листопад, уже мое спасенье.  
Меня на свете нет. Он знает: будет крик.  
Не плещется вода, как будто к разговорам  
полузаснувших рыб прислушиваясь, и  
то льется сквозь меня немеющим задором,  
то пальцами грозит глухонемой крови.  
Течет во мне река, как кровь глухонемая.  
Свершается обряд — в ней крестят листопад,  
и он летит на слух, еще не сознавая,  
что слух сожжет его и не вернет назад.



Стоишь одна у входа в этот лес,  
где каждый лист — потомок ожиданий,  
и каждый шаг отчетлив, как последний.

Уже не вдох стоит перед тобой,  
а ты на вдохе ищешь равновесье —  
так дышат травы, облака и годы.

Лицо дождя, заплаканное в день,  
когда он шел, теперь уж просветлело —  
его глазами смотришь ты на ветви.

Тыходишь в куб, зеркальный изнутри,  
где птичья ночь шуршит в его объеме  
и прошлогодний снег щекочет губы.

Как смертный звук, пробившийся из  
тьмы,  
еще незримо, но уже знакомо  
слух отстраненный прячется в пылинке.

Не так ли сердце взвешивает стук?



Мороз в конце зимы трясет сухой гербарий  
и гонит по стеклу безмолвный шум травы,  
и млечные стволы хрипят в его пожаре,  
на прорези пустот накладывая швы.  
Мороз в конце зимы берет немую спицу  
и чертит на стекле окошка моего:  
то выведет перо, но не покажет птицу,  
то нарисует мех и больше ничего.

Что делать нам в стране, лишенной суесловья?  
По несколько веков там длится взмах ветвей.  
Мы смотрим сквозь себя, дыша его любовью,  
и кормим с рук своих его немых зверей.  
Мы входим в этот мир, не прогибая воду,  
горящие огни, как стебли, разводя.  
Там звезды, как ручьи, текут по небосводу  
и тянется сквозь лед голодный гул дождя.

Пока слова и смех в беспечном разговоре —  
лишь повод для него, пока мы учим снег  
паденью с облаков, пока в древесном хоре,  
как лед, звенят шмели, пока вся жизнь навек  
вдруг входит в этот миг неведомой тоскою,  
и некуда идти, — что делать нам в плену  
морозной тишины и в том глухом покое  
безветренных лесов, клонящихся ко сну?



Любовь, как мышь летучая, скользит  
в крошечной тьме среди тончайших струн,  
связующих возлюбленных собою.

Здесь снегопада чуткий инструмент,  
и черно-белых клавишей его  
приятно вдруг увидеть мельтешенье.

Внутри рояля мы с тобой живем,  
из клавишей и снега строим дом.  
Летучей мыши крылья нас укроют.  
И, слава богу, нет еще окна —  
пусть светятся миры и времена,  
не знать бы их, они того не стоят.

Приятно исцелять и целовать,  
быть целым и другого не желать,  
но вспыхнет свет — и струны в звук вступают.  
Задело их мышинное крыло,  
теченье снегопада понесло,  
в наш домик залетела окон стая.

Но хороша ошибками любовь.  
От крыльев отслоились плоть и кровь,  
теперь они лишь сны обозначают.  
Любовь, как мышь летучая, снует,  
к концу узор таинственный идет —  
то нотные значки для снегопада.  
И черно-белых клавишей полет  
пока один вполголоса поет  
без музыки, которой нам не надо.



Когда неясен грех, дороже нет вины —  
и звезды смотрят вверх и снизу не видны.

Они глядят со стороны на нас, когда мы в страхе,  
верней, глядят на этот страх, не видя наших лиц.  
Им все равно, идет ли снег нагим или в рубахе,  
трещат ли сучья без огня, летит полет без птиц.

Им все равно, им наплевать, в каком предметы виде.  
Они глядят со стороны, колючий сея свет,  
и он проходит полость рук, разомкнутых в обиде,  
и возвращается назад, но звезд на месте нет.

Они повернуты спиной, их не увидишь снизу.  
И кто — скажите мне — хоть раз подняться выше смог,  
чтобы увидеть, как течет не отсвет по карнизу,  
не тень ручная по стене, а вне лица упрек?

Как эти звезды приручить, известно только Богу.  
Как боль неясную унять, понятно только им.  
Как в сердце черном возродить любовь или тревогу?  
Молчат. И, как перед собой, пред небом мы стоим.

И снег проходит нагишом, невидим и неслышим,  
и продолжается полет давно умерших птиц,  
и, заменяя звездный свет, упрек плывет по крышам,  
и я не чувствую тебя, и страх живет вне лиц.



Пустая телега уже позади,  
и сброшена сбруя с тебя, и в груди  
остывшие угли надежды.  
Ты вынут из бега, как тень, посреди  
пустой лошадиной одежды.

Таким ты явился сюда, на простор  
степей распростертых, и, словно в костер,  
был брошен в веление бега.  
Таким ты уходишь отсюда с тех пор,  
как в ночь укатила телега.

А там, за телегой, к себе самому  
буланое детство уходит во тьму,  
где бродит табун вверх ногами  
и плачет кобыла в метельном дыму,  
к тебе прикасаясь губами.

Небесный табун шелестит, как вода,  
с рассветом приблизятся горы, когда  
трава в небесах заклубится  
и тихо над миром повиснет звезда  
со лба молодой кобылицы.



Прозрачных городов трехмерная тюрьма,  
чья в небесах луны не светится земля,  
где мачты для гробов и статуи ума  
в сыпучее метро уходят до нуля.

Там скрипка — то капкан, то мертвый каталог  
полетов и судеб, засосанных землей.  
Для безымянных дней единственный итог:  
песочные часы, набитые золой.





Вдруг кованого гипса нагота  
была крапивой зажжена, и слово  
всю облегло ее, и чернота  
в ней расступилась и сомкнулась снова.

И не догнать! Не перейти черту!  
Едва она успела оглянуться,  
как ноги вмерзли в эту черноту —  
к ней невозможно было прикоснуться.

Шмелиный зной качался на свечах  
черней, чем кровь в сердечном провороте.  
Но совпадают цвет и суть в ночах,  
и боль, как шмель, горюет о полете.

Ты — светлый ангел, и тебе не жаль  
тащить меня с молитвенной кошелкой  
в свою окаменевшую печаль  
и надо мной размахивать иголкой?

Был месяц втопан в быт колоколов,  
в часах кукушки больше не гнездились.  
И зеленела тень поверх голов,  
как на траве, когда мы расходились.

## НЕРАЗМЕННОЕ НЕБО

Раздвигая созвездья, как воду над Рыбой ночной,  
ты глядишь на меня, как охотник с игрушкой стальной,  
направляющей шашки в бессвязной забаве ребенка, —  
будто все мирозданье — всего лишь черта горизонта,  
за которым известно, что было и будет со мной.

На обочине неба, где нету ни пяди земли,  
где немислим и свод, потому что его развели  
со своим горизонтом, — вокруг только дно шаровое,  
только всхлип бесконечный, как будто число даровое  
набрело на себя и его удержать не смогли.

И я понял, как небо в себе пропадает — почти  
как синяк, как песок заповедный в последней горсти,  
если нет и намека земли под твоими ногами,  
если сердце, смещенное дважды, кривясь, между нами  
вырастает стеной и ее невозможно пройти.

На обочине неба, где твой затаен Козерог  
в одиночной кошаре, как пленом объятый зверек,  
где Медведицы воз укатился в другие просторы,  
заплетая созвездья распляской в чужие узоры,  
мы стоим на пороге, не зная, что это порог.

Коготь Льва, осеняющий чашу разбитых Весов,  
разлучает враждой достоверных, как ген, Близнецов —  
разве что угадаешь в таком мукомольном угаре?  
Это час после часа, поймавший себя на ударе  
по стеклянной твердыне запекшихся в хор голосов.

И тогда мы пойдем, соберемся и свяжемся в круг,  
горизонт вызывая из мрака сплетения рук,  
и растянем на нем полотно или горб черепахи,  
долгополой рекой укрепим и доверимся птахе,  
и слонов тяготенья найдем для разгона разлук.

И по мере того, как земля, расширяясь у ног,  
будет снова цвести пересверками быстрых дорог,  
мы увидим, что небо начнет проявляться и длиться,  
как ночной фотоснимок при свете живящей зарницы, —  
мы увидим его и поймем, что и это порог.



*Другу Л.*

Попробуй мне сказать, что я фантом  
и чья-то часть, болящая при этом,  
а если нет, то чем же болен я?  
Что заставляет незнакомым ртом  
меня вопить и вздрагивать скелетом  
под тяжестью чужого бытия?

Мне кажется, что плоть моя — часы  
чужой души, затерянной в страданье,  
глядящей на себя со стороны —  
и торг идет, и кренятся весы,  
и псы ворчат от моего дыханья,  
и некуда бежать, как от вины.

Так из глуши пустого рукава  
рванется жест призыва и погони,  
сшибая вежи призрачных колонн, —  
и под землей, не помнящей родства,  
очнется боль натруженной ладони,  
зарытой до скончания времен.

И даже не во сне я вижу вдруг,  
что мне знакомо в данном человеке,  
а он мне не встречался никогда.  
Как будто время, завершая круг,  
вползает в лабиринт дактилотеки,  
не дожидаясь Страшного суда.

Как будто время корчится петлей  
в самом себе и путает события.  
И мой близнец, отравленный тоской,  
все ищет мир, не тронутый золой,  
пытая сущность самого наитья  
и свой удел держа моей рукой.

Так чем же крепче сил моих замок  
и чем надежней сердце без изъята?  
Мне кажется, я слаб на договор.  
Но будто кто-то выудил зарок,  
чтоб край небес со сломанной печатью  
меня пронзал, как вспышка, как укор.

## ХОЛМЫ

Этот холм в степи — неумышленно голый, —  
это узел пространства, узилище свету.  
И тревожится сердце, и ритм тяжелый  
так и сносит его. И ветра нету.  
Черепка из полыни, как стон простора,  
выгоняют тропу, оглушают прелью.  
И тропа просевает щебень до сора  
и становится пылью, влекомой целью.  
И качается зной в монолитной дреме  
самоцветами ада в зареве этом,  
и чем выше тропа, тем пыль невесомей  
и срывается в воздух гнилушным светом.  
И тот же холм в степи, крутой и голый,  
и та же тропа проступает в бурьяне,  
и, взбираясь по круче в тоске веселой,  
растворяется щебень в сухом тумане.  
Западает в песок и отвесной пылью  
обрывается в воздух, такой же рваный,  
монолитной трухой и зноем и гнилью —  
только свет как будто другой и странный.  
Или так показалось: ведь холм все тот же —  
где им тут, в пустоте, разойтись обоим? —  
И одна и та же — как кровь под кожей —  
их руда топорщит своим жилобоем.  
Уберу ли камень с холма, чтоб где-то  
на другом холме опустело место,  
или вырву цветок незрячего цвета,  
словно чью-то ладонь отделяя от жеста,  
или просто в песок поставлю ногу,  
чтобы там, где камень исчез, забылся,  
и пропал цветок, неугодный Богу  
отпечаток моей ступни проявился?  
Но на склонах этих один заразный  
выгорает песок в ослепшую грудь.  
Почему же свет осеняет разный

этот холм, помещенный нигде и всюду?  
И ты видишь в себе, что здесь поминутно  
совершается праздник и преступление,  
и на казнь волокут тропую распутной,  
начинается подвиг, длится мученье.  
Он стоит, лицо закрывая руками,  
в одиночестве смертном, один, убогий,  
окруженный иудами и врагами,  
исступленной кровью горя в тревоге.  
Или он — единственный здесь, и это  
сознается им, несмотря на злобу,  
несмотря на мертвую маску света,  
заскорузлость воли, ума хворобу?  
Это было бы жертвой: то и другое,  
подвиг — если он здесь одинок и страшен,  
или праздник — когда под его рукою  
оживает единственность толп и пашен.  
Это жертва — и та и другая — в казни  
обретает залог и долг продолженья.  
Только свет надо всем излучается разный:  
свет укора и праздничный свет искупленья.  
Или чары потворства грозят любовью,  
или молнии мечут бранные стяги,  
или холм обряжают горящей кровью,  
словно это письмо на обратной бумаге?  
Ты, представший с лицом, закрытым руками,  
опусти свои руки и дай очнуться  
от твоей несвободы, вбитой веками!  
Горек хлеб твой, и жертвы нельзя коснуться.

Камень плывет в земле здесь или где-нибудь, —  
скол золотых времен, сторож игры и толп,  
но из-под ног твоих он вырывает путь  
и отсылает вверх, чтобы горел как столб.

Я не блудил, как вор, воли своей не крал,  
душу не проливал, словно в песок вино,  
но подступает стыд, чтобы я только знал:  
то, что снаружи крест, то изнутри окно.

Не разобьешь в щепу то, что нельзя унять,  
и незнакомый свет взгляд опыляет твой,  
и по корням цветов гонит и гонит вспять  
цвет золотых времен будущих пред тобой.

Ближе, чем кровь, луна каждому из землян,  
и по числу людей множится лунный род.  
Видишь: над головой улиц или полян  
лунных пейзажей клин поднят, как в перелет.



## НИША И СТОЛП

Слепок стриженной липы обычной окажется нишей,  
если только не входом туда, где простор каменеет,  
или там погружается в гипс и становится тише  
чей-то маленький быт и уже шевельнуться не смеет.  
Словно с древа ходьбы обрывается лист онемевшей  
стопою, словно липовый мед,

испаряясь подвальной известкой,  
застилает твой путь, громоздя миражи пред тобою,  
выползает из стен и в толпе расставляет присоски.

Сколько душ соблазненных примерить пытается взглядом  
эти нимбы святых и фуражек железные дуги,  
чтобы только проверить, гордясь неприступным нарядом,  
то ли это тавро, то ли кляп, то ли венчик заслуги.

Или чучело речи в развалинах телеканала,  
или шкаф с барахлом, как симметрия с выбитым глазом,  
или кафельный храм, или купол густого вокзала,  
или масть, или честь, оснащенная противоголомом.  
Одноместный колпак, как гитарная радуга барда,  
или колокол братства с надтреснутой нотой в рыданье,  
ветровое стекло, осененное нимбом с кокардой  
над стальными усами, проросшими всем в назиданье.

Не тайник, не тюрьма, не гнездо, не мешок, не могила —  
это столб наизнанку, прожектор с обратным свеченьем,  
западня слепоты, провиденья червячное рыло,  
это ниша твоя, горизонт в переулке осеннем.  
Не капкан, не доспех и не просто скелет насекомый —  
это больше в тебе, чем снаружи,

и больше сегодня, чем было.

Ты стоишь на столбе, но не столпник, горящий в объеме,  
ты открыт, но не виден, как будто тебя ослепило.

Так шагни в этот зев, затаивший последнее слово,  
в этот ложный ответ на его же пустую загадку,

в этот лжелабиринт и подобие вечного крова,  
в этот свет-пересмешник, сведенный к немому остатку.  
И царь-колокол там не звонит и царь-пушка,  
увы, не стреляет,  
Медный всадник не страшен,  
и все потому, что пространство  
канцелярски бесстрастно тебя под ответ подгоняет,  
провоцируя зависть и гордый нарыв самозванства.

Ты способен извлечь доказательство права на дулю  
самому бытию в виде царских родимых отметин,  
словно ты — Себастьян, тот, что кожей выплевывал пули,  
ты соправен природе и этим себе незаметен.  
Самовластный, как рекс или Каин с клеймом абсолюта,  
прирученный ловушкой, избравший содом тяготенья,  
ты живешь как мертвец, потому что позволил кому-то  
убивать без разбора все то, что претит приручению.

Да, ты вышел нагим, но успел обрасти позолотой  
ежедневной приязни, влюбленности в самоубийство.  
Ты безумен, как тать, продырявивший бездну зевотой,  
заполняемой наспех дурманящей страстью витийства.

И не думал о том тот, кто стену ломал на иконы,  
что стена, как в размол, попадает в разменную кассу,  
что ее позолотой окрасится век похоронный,  
век, что пишет былъем по крови, как маляр по левкасу.  
Этой падшей стеной ты накрыт, как мудрец шлемофоном,  
где, как тысячи ниш, осыпаются камешки свода  
и шуршат, и из них в тяготенья своем неуклонном  
вызревает стена или просто пустая порода.

## ПРОРОКИ

*Древний (псевдопророк)*

И посох вздыбится и прынет на царя,  
замка венчального развяжется прореха,  
и своеволия развяжется потеха,  
треща укорами и сварами горя.

Забудь, что с небом ты когда-то был на ты —  
уже вот-вот веретено закружит пряху,  
пойдет приказывать, собирая на рубаху  
парализующую кротость немоты.

И густопсовая зардеется парча  
еще неявными промоинами крови,  
пророки в прошлое вперятся наготове  
перепредсказывать и шкурничать сплеча.

Вторым пришествием отмеченный недуг  
пройдет дорогами Египта, Ниневии.  
Нас могут вспомнить небеса еще живые,  
нас долго не было, но завершился круг.

Мы вровень с теми, для которых мы вверху  
перед возможностью исчезнуть и продлиться,  
кто мог воскреснуть, опоздает воплотиться  
в тщете бесславия, как в свалке на духу.

Сопровождающий едва ли господин  
обычной радости, любви обыкновенной.  
Но посох вырвется и грянет по вселенной:  
— Уйдите все! Теперь пойду один.

## Современный (антипророк)

Если горы читаются слева направо  
или так же неспешно в обратном порядке,  
но не снизу — как днем, и не сверху — как ночью, —  
это значит, что время устало воочью,  
отказалось от возраста, и без оглядки  
изменилось его неподкупное право,

И когда ты в угоду бессчетным затеям  
навязаться захочешь какой-нибудь цели,  
расплетая дорогу на тропы провидца  
(словно подвиг Гераклу навязан Антеем  
для того, чтобы только в безумном веселье  
от земли оторваться и ввысь устремиться), —

вот тогда ты увидишь впрыток, изумленно  
прозревая, что нет ни вблизи, ни в округе  
ни тебя, ни того, что тебя возносило.  
Ты поймешь, как ужасно зиянье канона.  
Ты — аспект описанья, изъятый в испуге,  
наводящая страх бесприютная сила.

Можно вынуть занозу из мака живого,  
чтобы он перестал кровяниться в отваге,  
можно вынуть историю из пешехода,  
научить красотой изнуренное слово  
воздвигать закрома из болящей бумаги,  
чтобы в них пустовала иная порода.

Можно сделать парик из волос Артемиды,  
после смерти отросших в эфесском пожаре,  
чтобы им увенчать безголовое тело,  
тиражировать шок, распечатать обиды  
или лучше надежду представить в товаре,  
но нельзя, потому что...и в этом все дело.

Ты увидишь, как горы уходят, и с каждой —  
горизонт и возможность иного простора,  
и умение помнить времен исчисленье.  
Если только тобой управляет паденье  
в неумную жажду высот разговора —  
все терзанья твои объясняются жаждой.



Ты, как силой прилива, из мертвых глубин  
извлекающий рыбу,  
речью пойман своей, помещен в карантин,  
совместивший паренье и дыбу.  
Облаками исходит, как мор и беда,  
отсидевшая ноги вода.

Посмотри: чернотой и безмолвием ртов,  
как стеной вороненой,  
зачаженные всплески эдемских кустов  
окружают тебя обороной.  
И, свою спиной повернувшись, луна  
немоту поднимает со дна.

Даже если ты падать начнешь не за страх —  
не достигнешь распада,  
Ты у спящего гнева стоишь в головах,  
как земля поперек листопада.  
Сыплет ранами черной игры листопад,  
блещет сталью своей наугад.

Ты стоишь по колено в безумной слюне  
помраченного дара,  
разбросав семена по небесной стерне,  
как попытку и пробу пожара,  
проклиная свой жест, оперенный огнем,  
и ладонь, онемевшую в нем.

Не соседи, не дети твои — эти сны,  
наяву ли все это?  
Ты — последняя пядь воплощенной вины,  
ты — свидетель и буквица света,  
ты — свидетель, привлекший к чужому суду  
неразменную эту беду.

Оттого ли, что сталь прорастает ножом  
и стеной обороны,  
завернувшись внахлест двуязычным ужом,  
как причет или плач похоронный, —  
ты, как рану, цветок вынимаешь из пут  
недосчитанных кем-то минут.

## ПРЕОБРАЖЕНИЕ

И при слове клятвы сверкнут под тобой весы  
металлическим блеском, и ты — на одной из чаш,  
облюбованный насмерть приказом чужой красоты,  
вынимающий снизу один за другим этаж.

Как взыскуемый град, возвращенный тебе сполна,  
и как слава миров, под тобою разверстых, на  
воздухах левитации реет кремнистый пар —  
от стерильной пустыни тебе припасенный дар.

Преображенный клятвой и ставший совсем другим —  
всем, что клятвой измерил и чем был исконно цел,  
наконец ты один, и тебе незаметен грим,  
погрузивший тебя в обретенный тобой удел.

Соучастник в своем воровстве и третейский суд,  
пересмешник, свидетель, загнавший себя под спуд  
предпоследней печати, в секретный ее завод —  
под чужое ребро бесконечного сердца ход.

И при слове клятвы ты знаешь, чему в залог  
ты себя отдаешь, перед чем ты, как жертва, строг.  
От владений твоих остается один замок,  
да и тот без ключа. Остальное ушло в песок.





Плыли и мы в берегах, на которых стояли  
сами когда-то, теперь вот и нас провожают,  
смотрят глазами потока, теряя детали.  
Лечит ли время все то, что оно разрушает?  
Что вспоминать о воде, протекающей мимо?  
Нет у нее берегов для того, кто печален.  
Святость и сволочь сгорают, не чувствуя дыма —  
все совершенно на дне драгоценных развалин.  
Все совершенно и даже не страшно, как видишь,  
гноище ль это, убийство, предательство, свара.  
С места не сдвинешь, не вызовешь мук, не обидишь:  
то, что прозрачно греху, незаметно для дара.  
Но и любили мы так, как будто теряли  
из виду то, что любили — молча, неслышно.  
Так растается с листвою в безоружной печали  
сад сокровенный, далекий, незримый, всевышний.  
Или как зренья теряют меркнувшим телом:  
руки подносят к глазам — не ослабла повязка?  
Видят как будто не то, да привыкнув за делом.  
Точно ли было оно или все это сказка?  
Или как в сердце любовь загоняют — не скроешь,  
как бередится оно, отзывается рвотой,  
хлещет, язвит — и душу вовек не отмоешь  
ни пустотой совершенства, ни горькой заботой.  
Я не пою, а бреду по дну нестерпимого воя  
или по дну листодера к чужому обману.  
Больше того, чем я не был и что я такое,  
в этом потоке я быть не могу и не стану.  
Если уж встретить придется себя — не узнаю:  
встреча во времени недалеко от разлуки.  
Все-таки видит спиной и уходит по краю  
тот, кто тобой не прощен и не взят на поруки.  
Тот, кто тобой не забыт, продолжает толпиться  
смертной истомой среди полюсов лихолетья.  
Кто ты, увиденный мной? Почему тебе снится  
тот же единственный сон о неизвестном свете?

Кто ты, неравный себе? Для какой ты науки?  
Глаз не спускаешь с меня, а смотришь спокойно  
и оставляешь в залог очищающей муки  
клятве в замену все то, что свершится достойно.  
Клятва — ведь это залог, и подобна повязке  
той слепоты, что иного прозренья не хуже.  
Нет берегов для нее — только свет без окраски,  
свет на глазах, но скорей изнутри, чем снаружи.  
Выйди еще, погляди хоть такими глазами,  
всё ли плывут облака оставаясь в начале,  
всё ли помнят тебя и глядят небесами  
сквозь поток и покой неразменной печали?

## СОБАЧИЙ ВАЛЬС

День с потерянной бронью в чужом сентябре  
не сильнее листвы и бумаги,  
за газетой, парящей среди фонарей,  
он увяжется тенью дворняги.

За газетой, порхающей над мостовой,  
обливаемой шоком глазурным,  
зашевелятся тени собачьей игрой,  
обратают ночные фигуры.

Будет улица гаснуть в себе глубоко,  
в переулки свивая округу.  
Если бремя присутствия здесь нелегко,  
не пустить ли нам волю по кругу?

Не пустить ли нам шапку по воле, по той  
хлебоносной воде, но возвратной,  
отмахавши полмира железной верстой,  
расстилая уютные пятна?

. . . . .

Заскулят тормоза, обмотав колесо  
запаленной газетной холстиной,  
эти стены, фигуры, и небо, и все  
обдавая угарною псиной.

## ВОЗВРАЩЕНИЕ

Это на слабый стук, переболевший в нем,  
окна вспыхнули разом предубежденным жаром,  
и как будто сразу взлетел над крышей дом,  
деревянную плоть оставляя задаром.  
Где бы он ни был, тайно светила ему  
золотая скоба от некрашеной двери,  
а теперь он ждет, прогибая глазами тьму,  
посвященный итогу в испуганной вере.  
Ждет хотя бы ответа в конце пути,  
позолочен по локоть как будто некстати  
холодком скобы, зажатым в горсти,  
на пределе надежды, близкой к утрате.  
Выйдет мать на крыльцо, и в знакомом «Кто?»  
отзовется облик в ответом пальто,  
отмелькавшем еще в довоенных зимах.  
Грянет эхо обид, неутоленных, мнимых,  
мутью повинных дней остепенясь в ничто.

Может, теперь и впрямь дело совсем табак,  
блудный сын, говорят, возвращался не так:  
несказанно, как дождь, необученный плачу,  
словно с долгов своих смог получить он сдачу  
в виде воскресших дней — это такой пустяк.  
Благословен, чей путь ясен и прост с утра,  
кто не теряет затылком своим из виду  
цель возвращенья и облаков номера  
помнит среди примет, знавших его обиду!  
Что воскресенье? — это такой зазор,  
место, где места нет, что-то из тех укрытий,  
что и ножны для рек или стойла для гор,  
вырванных навсегда из череды событий.  
Знать бы, в каком краю будет поставлен дом  
тот же, каким он был при роковом уходе,  
можно было б к нему перенести тайком  
то, что растратить нельзя в нежити и свободе.



В пустоту наугад, обоюдоогромный  
вникнет луч напрямик и повиснет, застыв,  
и разломится вдруг, и из бездны разлома  
брызнет озера сильный и слитный порыв.

И, рядясь в берега, это озеро станет  
прозевать от равнин и провидеть от гор,  
и зверино и рыбно задышит, и втянет  
в тяготенья свое беспредметный простор.

И тогда ты припомнишь, что миру начала  
нет во времени, если не в сердце оно,  
нет умерших и падших, кого б не скрывало  
от морей и от бездн отрешенное дно.

Никого на дороге: ни мира, ни Бога —  
только луч, и судьба преломится ему,  
и движеньем своим образует дорога  
и пространство и миг, уходящий во тьму.

Что там видится, что остается вначале,  
что уходит сквозь пальцы по пыльным шоссе?  
Это вестник без вести, пропавший в печали,  
за рассказом растаявший в светлой росе.

## ДВЕРИ НАСТЕЖЬ...

Лунный серп, затонувший в Море дождей,  
задевает углами погибших людей,  
безымянных, невозвращенных.  
То, что их позабыли, не знают они.  
По затерянным селам блуждают огни  
и ночами шуршат в телефонах.

Двери настежь, а надо бы их запереть,  
да не знают, что некому здесь присмотреть  
за покинутой ими вселенной.  
И дорога, которой их увели,  
так с тех пор и висит, не касаясь земли, —  
только лунная пыль по колено.

Между ними и нами не ревность, а ров,  
не порывистой немощи смутный покров,  
а снотворная скорость забвенья.  
Но душа из безвестности вновь говорит,  
ореол превращается в серп и горит,  
и шатается плач воскресенья.



*Памяти сестры*

Область неразменного владенья:  
облаков пернатая вода.  
В тридевятом растворясь колене,  
там сестра все так же молода.

Обрученная с невинным роком,  
не по мужу верная жена,  
всю любовь, отмеренную сроком,  
отдала вечности она.

Как была учительницей в школе,  
так с тех пор мелок в ее руке  
троеперстием горит на воле,  
что-то пишет на пустой доске.

То ли буквы непонятны, то ли  
нестерпим для глаза их размах:  
остается красный ветер в поле,  
имя розы на его губах.

И в разломе символа-святыни  
узнается зубчатый лесок:  
то ли мел крошится, то ли иней,  
то ли звезды падают в песок.

Ты из тех пока что незнакомок,  
для которых я неразличим.  
У меня в руке другой обломок —  
мы при встрече их соединим.

# II







Замедленное яблоко не спит,  
украденное облако не тает —  
в другие времена оно летит,  
а в этих временах оно летает.

Невнятное, как вольный парадиз,  
оно уже о том напоминае,  
что создано когда-то сверху вниз  
измученное славой мирозданье.

И воздух перекошенным стоит,  
когда его отсутствием питает  
не облако, которое летит,  
а облако, которое летает.

## АРЕСТОВАННЫЙ МИР

Я блуждал по запретным, опальным руинам,  
где грохочет вразнос мемуарный подвал  
и, кружа по железным подспудным вощинам,  
пятый угол своим арестантам искал.  
Арестанты мои — запрещенные страхи,  
неиспытанной совести воры,  
искуплений отсроченных сводни и свахи,  
одиначества ширмы и шоры.  
Арестанты-уродцы, причуды забвенья  
и мутанты испуганной зги,  
говорящей вины подставные мишени  
и лишенные тыла враги.

И, заблудшим убийствам даруя просторы,  
неприкаянным войнам давая надел,  
я, гонитель-чужак, на расправу нескорый,  
отпустить их на волю свою не сумел.  
Я их всех узаконил музейным поместьем,  
в каталог арестантов отправил,  
но для них я и сам нахожусь под арестом,  
осужденный без чести и правил.  
Ничему в арестованном небе предела  
не дано никогда обрести.  
И какое там множество бед пролетело,  
не узнают по срезу кости.

Но растянутый в вечности взрыв воскрешенья  
водружает на плаху убийственный трон.  
Проводник не дает избежать продолженья  
бесконечной истории после времен.  
Западной и ловушек лихие подвохи  
или минных полей очертанья —

это комья и гроздя разбитой эпохи,  
заскорузлая кровь мирозданья. Если б новь зародилась и  
было б довольно  
отереть от забвенья чело...  
Но тогда почему воскрешение — больно,  
почему воскресенье — светло?



Я не лунатик, я ногами сплю.  
Вокруг меня помпезные колонны —  
я их корней не чувствую, они —  
застывшие глотки незримых горл.  
Что недопито или что еще  
им выпить предстоит, какой отравы?  
Учитывая почвы этих мест,  
они должны быть красными, как кровь.  
Но нет, в подтеках, серые, на них  
надеван камень, но не лунной пробы,  
а той, что близок звук какой-то — «у».  
Вот доигрался, вот уже собаки  
хватаят сумрак заполошным лаем,  
как одеяло, под которым чуют  
клубящийся волчатник или след.  
След? Но кому он нужен, этот след?  
Пусть кто-нибудь его другой доносит.  
А я стою. Вокруг меня колонны —  
Бирнамский лес, застывший на ходу.



Как душу внешнюю, мы носим куб в себе —  
не дом и не тюрьма, но на него похожи,  
как хилый вертоград в нехитрой похвальбе  
ахилловой пятой или щитом его же.

Как ни развертывай, не вызволишь креста,  
выходит лишь квадрат, незримый или черный.  
Как оборотня шум, его молва чиста  
и хлещет из ушей божбой неречетворной.

И Белой Индии заиндевелый сон  
глядится в гололед серебряной ладошкой,  
где сходится звезда со взглядом в унисон  
то лазерным лучом, то Марсовой дорожкой.

Допустим, это ад, где каждому свое:  
ни темени, ни тьмы, но остается с теми,  
кто черный куб влачит как совесть и жильё,  
горами черепов изложенная тема.



Этот город — просто неудачный  
фоторобот града на верхах.  
Он предъявлен цифрой семизначной  
как права на неразъемный страх.

Фоторобот золотой эпохи  
застеклен и помещен туда,  
где ему соседствуют пройдохи  
и иные, впрочем, господа.

Как лунатик, множимый ногами,  
пропуская в бездну этажи,  
город-призрак заблудился в раме.  
Ложный страх сильнее страха лжи.

Бродит он по улицам старинным,  
сам себя нигде не находя,  
где домам, прохожим и машинам  
легче быть пустотами дождя.

Но составлен фоторобот страха,  
и морозом дорисован лес —  
рыбья нота или ночь-рубаша  
в нем живут, не ведая чудес.

Тихий ангел — палец к губам — оборвет разговор,  
и внезапной свободой  
мы повиты, как руки немых, завершающих спор  
точкой схода.

И кому не хотелось хотя бы на время такой  
стать неслышимой речью,  
пролетающей паузой между словами с тоской  
по молве человеческой.

Но страна, как и речь, то по черному ходу идет,  
то уходит из дома.  
Одеяние с ангела, плясь изнанкой, спадет,  
словно молния с грома.

Там грохочет музыка на стыках раздолбанных нот  
нулевым пересчетом.  
Там для суммы важнее не то, что считают, а тот,  
кто поставлен над счетом.

Прозревай в слепоту и с нечетной ноги воскресай,  
догоняя безногих  
по дороге хромой в заповеданный рай,  
ставший адом для многих.

Молча яблоко рта разломи молодым  
языком пустоцвета.  
Ветер ширму повалит с пейзажем ночным,  
но не будет рассвета.

Вечность — миг, неспособный воскреснуть давно,  
и от ангельских крылий,  
как в минуту молчанья, на сердце темно.  
Так мы жили.





На этой воле, где два простора  
так тяготеют враждой друг к другу,  
что незаметно их двоемирье, —  
там сварой мертвых объята свора,  
пьют безучастных богов по кругу,  
и нет незваных на этом пире.

Спроси у Господа, где твой Каин,  
где брат по спорищу и по смуте,  
брат по вражде или враг по крови?  
Пока он брошен и неприкаян,  
он — твой двойник по несчастной сути,  
он — тот же ты, но в запретном слове.

Верблюда помнят, а разве Царство  
в ушке игольном застрять не может,  
когда б решилось пойти навстречу?  
Запретный плод облечен в лекарство  
от тех сомнений, что жизнь итожит,  
но где он спрятан, я не отвечаю.

А там, где ревности нет в помине,  
где все друг друга давно простили,  
где нет ни правых, ни виноватых,  
благословенье твоей пустыни  
к тебе придет без твоих усилий,  
не осуждая тебя в утратах.



На цветочных часах паучка притаился отвес.  
Время — день или недень — Купале как будто бы впору.  
Отмотай от рулона кладбищенской глины отрез —  
там копающий яму надеется выкопать гору.

Весь рассвет на кону — только пасмурным солнцем заспать  
обещает молва неотпетые временем тыщи.  
Глина глину пожрет, домовью или нави под стать.  
Зарастет, но не нами, а сорной травой пепелище.

И не воду бы надо спускать с поводка, а вино,  
претворяя обратно в ту воду, что смерть отмывает.  
Но былье на сносях с поколеньем твоим заодно —  
дно выходит из вод, но и берегом стать не желает.

Зарастет пепелище, и жертвой охнет земля,  
сокрушенно позволив забыть о себе для другого,  
надеясь собой, никого на себя не деля,  
отпуская и дясь, чтобы видеться снова и снова.



Весною сад повиснет на ветвях,  
нарядным прахом приходя в сознание.  
Уже вверху плывут воспоминанья  
пустых небес о белых облаках.

Тебя он близко поднесет к лицу,  
как зеркальце, но полуотрешенно,  
слабеющей пружинной патефона  
докручивая музыку к концу.

Потом рукой, слепящей, как просвет,  
как уголок горящего задверья,  
он снимет с лет запретных суеверье.  
Быть иль не быть — уже вопроса нет.

Но то, что можно страхом победить,  
заклятый мир в снотворной круговерти  
тебе вернет из повседневной смерти,  
которую ты должен доносить.



Пойдем туда дорогой колеистой,  
где в шкуре плеса тополь серебристый —  
алмаз, не уступающий черте.  
Там речка спит на согнутом локте.

Ей сон такой неудержимый снится  
из наших отражений, а над ним  
там сельский быт в тесовых рукавицах  
не застит дня видением пустым.

Солома остановленного тленья,  
стога забальзамированных сил —  
как будто нами первый день творенья  
до нашего рожденья предан был.

Пошли налево через запятую  
флаконы с усыпленным бытием,  
бесцветные с уклоном в золотую,  
кровистым подслащенные огнем.

Уже не сон, а ветер многорукий  
над мертвым лесом, бледен и суров,  
верхом на шатком метрономном стуке  
проносится смычками топоров.

И лес хрипит, всей падалью растений  
мучительно пытаюсь шелестеть.  
Но не растут на тех деревьях тени,  
и нечем им ответить и посметь.

Лесного эха стыд деревенеет,  
оно посмертной воле не к лицу.  
Дорога под ногами цепенеет.  
Идет тысячелетие к концу.



Кости мои оживут во время пожара,  
я раздую угли в своих ладонях.  
Но и в таком костре мне мой двойник не пара —  
бездны играют в прятки в оцепенелых доньях.

Произнесите вслух: нет ни кулис, ни падуг,  
и соберите в персть горсти и троеперстья —  
вас разоденут в стыд девять покорных радуг,  
небо кремнистой кожей, огонь безъязыкой вестью.

Дым от такой страды смертным глаза не выест,  
олово, а не спирт будет тащить на крышу.  
Может, тогда и впрямь время меня не выдаст —  
пенья Твоих костей, Господи, я услышу.

## СОДЕРЖАНИЕ

### I

До слова . . . . .	7
Крещение . . . . .	9
«Стоишь одна у входа в этот лес...» . . . . .	10
«Мороз в конце зимы трясет сухой гербарий...» . . . . .	11
«Любовь, как мышь летучая, скользит...» . . . . .	12
«Когда неясен грех, дороже нет вины...» . . . . .	13
«Пустая телега уже позади...» . . . . .	14
«Прозрачных городов трехмерная тюрьма...» . . . . .	15
«Вдруг кованого гипса нагота...» . . . . .	16
Неразменное небо . . . . .	17
«Попробуй мне сказать, что я фантом...» . . . . .	19
Холмы . . . . .	21
«Камень плывет в земле...» . . . . .	23
Ниша и столп . . . . .	24
Пророки	
Древний ( <i>псевдопророк</i> ) . . . . .	26
Современный ( <i>антипророк</i> ) . . . . .	27
«Ты, как силой прилива, из мертвых глубин...» . . . . .	29
Преображение . . . . .	31
«Плыли и мы в берегах...» . . . . .	32
Собачий вальс . . . . .	34
Возвращение . . . . .	35
«В пустоту наугад, обоюдоогромный...» . . . . .	36
Двери настезь... . . . .	37
«Область неразменного владенья...» . . . . .	38

### II

«Замедленное яблоко не спит...» . . . . .	41
Арестованный мир . . . . .	42
«Я не лунатик, я ногами сплю...» . . . . .	44
«Как душу внешнюю, мы носим куб в себе...» . . . . .	45
«Этот город — просто неудачный...» . . . . .	46

«Тихий ангел — палец к губам...» .....	47
«На этой воле, где два простора...» .....	48
«На цветочных часах паучка притаился отвес...» ...	49
«Весною сад повиснет на ветвях...» .....	50
«Пойдем туда дорогой колеистой...» .....	51
«Кости мои оживут во время пожара...» .....	52

В поэтической серии «Автограф», издаваемой «Пушкинским фондом», вышли следующие сборники:

1. Б. Ахмадулина. **Ларец и ключ**
2. В. Салимон. **Невеселое солнце**
3. И. Лиснянская. **После всего**
4. Ю. Кублановский. **Памяти Петрограда**
5. И. Бродский. **В окрестностях Атлантиды**
6. Н. Кононов. **Лепет**
7. А. Пурин. **Евразия и другие стихотворения**
8. Е. Шварц. **Песня птицы на дне морском**
9. С. Гандлевский. **Праздник**
10. В. Гандельсман. **Там на Неве дом...**
11. В. Дроздов. **Стихотворения**
12. Л. Лосев. **Новые сведения о Карле и Кларе**
13. А. Цветков. **Стихотворения**
14. Д. Новиков. **Караоке**
15. И. Жданов. **Фоторобот запретного мира**

Все книги серии тиражом до 1000 экземпляров.

Для приобретения указанных сборников обращайтесь  
в издательство по адресу:  
191028, СПб., Моховая ул., 20, помещение журнала «Звезда».  
Информация по телефону: (812) 273-37-24



**Ж 42**

**Жданов Иван**

**Фоторобот запретного мира: Стихотворения.**—  
СПб.: Пушкинский фонд, 1997.— 56 с.

ISBN 5-85767-094

**ББК 84.Р7**

**Жданов Иван Федорович**

**ФОТОРОБОТ ЗАПРЕТНОГО МИРА**

«Пушкинский фонд», Санкт-Петербург, 1997

Редактор *Г. Ф. Комаров*

Корректор *В. Г. Комарова*

ЛР №030448 от 10 ноября 1992 г.

Подписано в печать 03.03.97 г.

Формат 60x84 1/16. Печать офсетная.

Усл.печ.л. 3,5. Бумага офсетная. Тираж 1000 экз. Зак.№ 46



Отпечатано с готовых диапозитивов в типографии "Полиграфический центр"  
190000, г. Санкт-Петербург, Прачечный пер., д. 6  
тел./факс 812 315 3310

